



А. И. ГЕРЦЕН

С того берега

V

CONSOLATIO

Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein.

*Goethe («TASSO»)*¹

Из окрестностей Парижа мне нравится больше других Монморанси. Там ничего не бросается в глаза, ни особенно береженные парки, как в Сен-Клу, ни будуары из деревьев, как в Трианоне; а ехать оттуда не хочется. Природа в Монморанси чрезвычайно проста, она похожа на те женские лица, которые не останавливают, не поражают, но привлекают каким-то милым и доверчивым выражением, и привлекают тем сильнее, что это делается совершенно незаметно для нас. В такой природе и в таких лицах есть обыкновенно что-то трогательное, успокаивающее, и именно за этот покой, за эту каплю воды Лазарю² всего больше благодарит душа современного человека, непрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я несколько раз находил отдых в Монморанси и за это благодарен ему. Там есть большая роща, местоположение довольно высокое, и тишина, которой под Парижем нигде нет. Не знаю отчего, но эта роща напоминает мне всегда наш русский лес... идешь и думаешь... вот сейчас пахнет дымком от овинов, вот сейчас откроется село... с другой стороны, должно быть, господская усадьба, дорога туда пошире и идет просеком, и верите ли? мне становилось грустно, что через несколько минут выходишь на открытое место и видишь вместо Звенигорода — Париж; вместо

окошечка земского или попа — окошечко, в которое так долго и так печально смотрел Жан-Жак...³

Именно к этому домику шли раз из рощи какие-то, по-видимому, путешественники: дама лет двадцати пяти, одетая вся в черном, и мужчина средних лет, преждевременно седой. Выражение их лиц было серьезно, даже покойно. Одна долгая привычка сосредоточиваться и жизнь, обильная мыслию, событиями, дают чертам этот покой. Это не природная тишина, а тишина после бурь, после борьбы и победы.

— Вот дом Руссо, — сказал мужчина, указывая на маленькое строение, окна в три.

Они остановились. Одно окошко было немного приотворено, занавеска колебалась от ветра.

— Это движение занавески, — заметила дама, — наводит невольный страх, так и кажется — вот сейчас подозрительный и раздраженный старик ее отдернет и спросит нас, зачем мы тут стоим. Кому придет в голову, глядя на мирный домик, окруженный зеленью, что он был пророческой скалой для великого человека, которого вся вина состояла в том, что он слишком любил людей, слишком верил в них, желал им больше добра, нежели они сами? Современники не могли ему простить, что он высказал тайное угрызение их собственной совести, и вознаграждали себя искусственным хохотом презрения, а он оскорблялся; они смотрели на поэта братства и свободы как на безумного; они боялись признать в нем разум, это значило бы признать свою глупость, а он плакал об них. За целую жизнь преданности, страстного желания помочь, любить, быть любимым, освобождать... находил он мимолетные приветы и постоянный холод, надменную ограниченность, гонения, сплетни! Мнительный и нежный от природы, он не мог стать независимо от этих мелочей и потухал, оставленный всеми, больной, в нищете. В ответ на все его стремления к симпатии, к любви ему досталась одна Тереза, в ней сосредоточивалось для него все теплое, вся сторона сердца, — Тереза, которая не могла научиться узнавать, который час, существо неразвитое, полное предрассудков, которая стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями⁴. Сколько горьких минут провел он, облакачиваясь на эту оконницу, с которой кормил птиц, думая, каким злом они ему заплатят! У бедного старика только и оставалось, что природа, — и он, восхищаясь ею, закрыл глаза, усталые от жизни, тяжелые от слез. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя... на этот раз Сократ сам осудил

себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности⁵. Когда взглядишься серьезно во все, что делается, становится противно жить. Все на свете гадко и притом глупо; люди хлопочут, работают, ни минуты не находят отдыха, а делают все вздор; другие хотят их вразумить, остановить, спасти — их распинают, гонят — и все это в каком-то бреде, не давая себе труда понять. Волны поднимаются, торопятся, клубятся без цели, без нужды... там они разбиваются с бешенством об скалу, тут подмывают берег... мы стоим середь водоворота, бежать некуда. — Я знаю, доктор, вы не так смотрите на жизнь, она вас не сердит, потому что вы в ней ищете один физиологический интерес и мало требуете от нее, вы большой оптимист. Иногда я с вами соглашаюсь, вы меня сбиваете с толку вашей диалектикой; но как только сердце принимает участие, как только из общих сфер, где все разрешено и успокоено, коснешься живых вопросов, взглянешь на людей, душа возмущается. Подавленное на минуту негодование снова просыпается, и досадуешь об одном: что нет достаточно сил ненавидеть, презирать людей за их ленивое бездушие, за их нежелание стать выше, благороднее... если б было можно отвернуться от них! И пусть они делают что хотят в своих полипниках, пусть живут нынче, как вчера, опираясь на привычки и обряды, бессмысленно принимая на веру, что делать и чего не делать... и изменяя притом на каждом шагу своей собственной нравственности, своему собственному катехизису!

— Я не думаю, чтоб вы были справедливы. Разве люди виноваты в вашей доверии к ним, в вашем идеальном понятии об их нравственном достоинстве?

— Я не понимаю, что вы говорите, я сейчас сказала совершенно противоположное. Кажется, это не верх доверия, когда говорят об людях, что у них нет, кроме мученических венцов для всякого пророка и бесполезного раскаяния после их смерти; что они готовы броситься, как звери, на того, кто, заменяя их совесть, *назовет* их дела; кто, снимая на себя их грехи, хочет разбудить их сознание.

— Да, но вы забываете источник вашего негодования? Вы сердитесь на людей за многое, чего они не сделали, потому что вы считаете их способными на все эти прекрасные свойства, к которым вы воспитали себя или к которым вас воспитали, — но они по большей части этого развития не имели. Я не сержусь, потому что и не жду от людей ничего, кроме того, что они делают; я не вижу ни повода, ни права требовать от них чего-нибудь другого, нежели что они могут дать, а могут они

дать то, что дают; требовать больше, обвинять — ошибка, насилие. Люди только справедливы к безумным и к совершенным дуракам, их, по крайней мере, мы не обвиняем за дурное устройство мозга, им прощаем природные недостатки; с остальными страшная моральная требовательность. Почему мы ждем от всех встречаемых на улице примерных доблестей, необыкновенного понимания — я не знаю; вероятно, по привычке все идеализировать, все судить свысока — так, как обыкновенно судят жизнь по мертвой букве, страсть по кодексу, лицо по родовому понятию. Я иначе смотрю, я привык к взгляду врача, к взгляду, совершенно противоположному — судьи. Врач живет в природе, в мире фактов и явлений, он не учит, он учится; он не мстит, а старается облегчить; видя страдание, видя недостатки, он ищет причину, связь, он ищет средств в том же мире фактов. Нет средств, он грустно пожимает плечами, досадует на свое неведение — и не думает о наказании, о пени, не порицает. Взгляд судьи проще, ему, собственно, взгляда и не надобно, недаром Фемиду представляют с завязанными глазами, она тем справедливее, чем меньше видит жизнь; наш брат, напротив, хотел бы, чтобы пальцы и уши имели глаза. Я не оптимист и не пессимист, я смотрю, вглядываюсь, без заготовленной темы, без придуманного идеала, и не тороплюсь с приговором — я просто, извините, скромнее вас.

— Не знаю, так ли я вас поняла, но, мне кажется, вы находите очень естественным, что современники Руссо его мучили маленькими преследованиями, отравили ему жизнь, оклеветали его; вы им отпускаете их грехи, это очень снисходительно, не знаю, насколько справедливо и нравственно.

— Для того, чтоб отпускать грехи, надобно прежде обвинять; я этого не делаю. Впрочем, пожалуй, я приму ваше выражение, да, я отпускаю им зло, ими причиненное, так, как вы отпускаете холодной погоде, которая на днях простудила вашу малютку. Можно ли сердиться на события, которые независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания? Они иногда бывают очень тяжелы для нас; но обвинение не поможет, а только запутает. Когда мы с вами сидели у кровати больной и горячка так развернулась, что я сам испугался, мне было бесконечно горько смотреть и на больную и на вас; вы так много страдали в эти часы — но вместо того, чтоб проклинать дурной состав крови и с ненавистью смотреть на законы органической химии, я думал тогда о другом, а именно о том, как возможность

понимать, чувствовать, любить, привязываться необходимо влечет за собою противоположную возможность несчастья, страданий, лишений, нравственных оскорблений, горечи. Чем нежнее развивается внутренняя жизнь, тем жестче, губительнее для нее капризная игра случайности, на которой не лежит никакой ответственности за ее удары.

— Я сама не обвиняла болезнь. Ваше сравнение не совсем идет; природа вовсе не имеет сознания.

— А я думаю, что и на полусознательную массу людей нельзя сердиться; взойдите в ее состояние борьбы между предчувствием света и привычкой к темноте. Вы берете за норму береженные, особенно удавшиеся оранжерейные цветы, за которыми было бездна ухода, и сердитесь, что полевые не так хороши. Не только это несправедливо, но это чрезвычайно жестоко. Если б у большинства людей было сознание сколько-нибудь светлее, неужели вы думаете, что они могли бы жить в том положении, в котором живут? Они не только зло делают другим, но и себе, и это именно их извиняет. Ими владеет привычка, они умирают от жажды возле колодца и не догадываются, что в нем вода, потому что их отцы им этого не сказали. Люди всегда были такие, пора, наконец, перестать дивиться, негодовать; можно было привыкнуть со времен Адама. Это тот же романтизм, который заставлял поэтов сердиться за то, что у них есть тело, за то, что они чувствуют голод. Сердитесь сколько хотите, но мира никак не переделаете по какой-нибудь программе; он идет своим путем, и никто не в силах его сбить с дороги. Узнавайте этот путь — и вы отбросите нравоучительную точку зрения, и вы приобретете силу. Моральная оценка событий и журьба людей принадлежат к самым начальным ступеням понимания. Оно лестно самолюбию — раздавать Монтионовские премии⁶ и читать выговоры, принимая мерилom самого себя, — но бесполезно. Есть люди, которые пробовали внести этот взгляд в самую природу и сделали разным зверям прекрасные или прескверные репутации. Увидали, например, что заяц бежит от неминуемой опасности, и назвали его трусом; увидали, что лев, который в двадцать раз больше зайца, не бежит от человека, а иногда его съедает, — стали его считать храбрым; увидали, что лев сытый не ест, — сочли это за величие духа; а заяц столько же трус, сколько лев великодушен и осел глуп. Нельзя больше останавливаться на точке зрения Эзоповых басен; надобно смотреть на мир природы и на мир людской проще, покойнее, яснее. Вы говорите о страданиях

Руссо. Он был несчастлив, это правда, но и это правда, что страдания всегда сопровождают необыкновенное развитие, натура гениальная может иногда не страдать, сосредоточиваясь в себе, довольствуясь собою, наукой, искусством; но в практических сферах никак. Дело очень простое: такие натуры, входя в обычные людские отношения, нарушают равновесие; среда, их окружающая, им узка, невыносима, их жмут отношения, рассчитанные по иному росту, по иным плечам и необходимые для тех плеч. Все, что давило по мелочи того, другого, все, о чем толковали вразбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастает в нестерпимую боль в груди сильного человека, в грозный протест, в явную вражду, в смелый вызов на бой; отсюда неминуемо столкновение с современниками; толпа видит презрение к тому, что она хранит, и бросает в гения камнями и грязью, до тех пор пока поймет, что он был прав. Виноват ли гений, что он выше толпы, виновата ли толпа, что она его не понимает?

— И вы находите это состояние людей, и притом большинства людей, нормальным, естественным? По-вашему, это нравственное падение, эта глупость так и быть должна? — Вы шутите!

— Как же иначе? Ведь никто не принуждает их так поступать, это их наивная воля. Люди вообще в практической жизни меньше лгут, нежели на словах. Лучшее доказательство их простодушия — в искренней готовности, как только поймут, что совершили какое-либо преступление, раскаяться. Они спохватились, распявши Христа, что скверно сделали, и бросились на колени перед крестом. О каком нравственном падении речь, *si toutefois*⁷ вы не говорите о грехопадении, я не понимаю. Откуда было падать? Чем дальше смотришь назад, тем больше встречаешь дикости, непонимания или совершенно иного развития, которое до нас почти не касается; какие-нибудь погибшие цивилизации, какие-нибудь китайские нравы. Долгая жизнь в обществе вырабатывает мозг. Выработка это делается трудно, туго; а тут вместо признания сердятся на людей за то, что они не похожи ни на идеал мудреца, выдуманного стоиками, ни на идеал святого, выдуманного христианами. Целые поколения легли костями, чтоб обжить какой-нибудь клочок земли, века прошли в борьбе, кровь лилась реками, поколения мерли в страданиях, в тщетных усилиях, в тяжком труде... едва вырабатывая скудную жизнь, немного покоя и пять-шесть умов, которые понимали заглавные буквы общественного

процесса и двигали массы к совершению судеб своих. Удивляться надобно, как народы при этих гнетущих условиях дошли до современного нравственного состояния, до своей самоотверженной терпеливости, своей тихой жизни; удивляться надобно, как люди так мало делают зла, а не упрекать их, зачем каждый из них не Аристид и не Симеон Столпник⁸.

— Вы хотите меня уверить, доктор, что людям предназначено быть мошенниками.

— Поверьте, что людям ничего не предназначено.

— Да зачем же они живут?

— Так себе, родились и живут. Зачем все живет? Тут, мне кажется, предел вопросам; жизнь — и цель, и средство, и причина, и действие. Это вечное беспокойство деятельного, напряженного вещества, отыскивающего равновесие для того, чтоб снова потерять его, это непрерывное движение, *ultima ratio*⁹, далее идти некуда. Прежде все искали отгадки в облаках или в глубине, подымались или спускались, однако не нашли ничего — оттого что главное, существенное все тут, на поверхности. Жизнь не достигает цели, а осуществляет все возможное, продолжает все осуществленное, она всегда готова шагнуть дальше — затем, чтоб полнее жить, еще больше жить, если можно; другой цели нет. Мы часто за цель принимаем последовательные фазы одного и того же развития, к которому мы приучились; мы думаем, что цель ребенка совершеннолетие, потому что он делается совершеннолетним, а цель ребенка скорее играть, наслаждаться, быть ребенком. Если смотреть на предел, то цель всего живого — смерть.

— Вы забываете другую цель, доктор, которая развивается людьми, но переживает их, передается из рода в род, растет из века в век, и именно в этой-то жизни неотдельного человека от человечества и раскрываются те постоянные стремления, к которым человек идет, к которым поднимается и до осуществления которых когда-нибудь достигнет.

— Я совершенно согласен с вами, я даже сказал сейчас, что мозг вырабатывается; сумма идей и их объем растет в сознательной жизни, передается из рода в род, но что касается до последних слов ваших, тут позвольте усомниться. Ни стремление, ни верность его — нисколько еще не обуславливает осуществление. Возьмите самое всеобщее, самое постоянное стремление во всех эпохах и у всех народов, — стремление к благосостоянию, стремление, глубоко лежащее во всем чувствующем, развитие простого инстинкта

самосохранения, врожденное бегство от того, что причиняет боль, и стремление к тому, что доставляет удовольствие, наивное желание, чтоб было лучше, а не было бы хуже; между тем, работая тысячелетия, люди не достигли даже животного довольства; пропорционально, я полагаю, что больше всех зверей и больше всех животных страдают рабы в России и гибнут с голоду ирландцы. Отсюда вы можете заключить, легко ли сбудутся другие стремления, неопределенные и принадлежащие меньшинству.

— Позвольте, стремление к свободе, к независимости стоит голода — оно весьма не слабо и очень определено.

— История этого не показывает. Точно, некоторые слои общества, развившиеся при особенно счастливых обстоятельствах, имеют некоторое поползновение к свободе, и то весьма не сильное, судя по нескольким тысячам лет рабства и по современному гражданскому устройству, наконец. Мы, разумеется, не говорим об исключительных развитиях, для которых неволя тягостна, а о большинстве, которое дает постоянное *démenti*¹⁰ этим страдальцам, что и заставило раздраженного Руссо сказать свой знаменитый *non-sens*¹¹: «Человек родится быть свободным — и везде в цепях!»¹²

— Вы повторяете этот крик негодования, вырвавшийся из груди свободного человека, с иронией?

— Я вижу тут насилие истории, презрение фактов, а это для меня невыносимо, меня оскорбляет самоуправство. К тому же превредная метода вперед решать именно то, что составляет трудность вопроса; что сказали бы вы человеку, который, грустно качая головой, заметил бы вам, что «рыбы рождаются для того, чтобы летать, — и вечно плавают».

— Я спросила бы, почему он думает, что рыбы рождаются для того, чтобы летать?

— Вы становитесь строги; но друг *Рыбства* готов держать ответ... Во-первых, он вам скажет, что скелет рыбы явным образом показывает стремление развить оконечности в ноги или крылья; он вам покажет вовсе не нужные косточки, которые намекают на скелет ноги, крыла; наконец, он сошлется на летающих рыб, которые на деле доказывают, что *Рыбство* не токмо стремится летать, но иногда и может. Давши вам такой ответ, он будет вправе спросить, отчего же вы у Руссо не требуете отчета, почему он говорит, что человек должен быть свободен, опираясь на то, что он постоянно в цепях? Отчего все существующее только и существует так, как оно *должно* существовать, а человек напротив?

— Вы, доктор, преопасный софист, и, если б я не коротко вас знала, я считала бы вас пребезнравственным человеком. Не знаю, какие лишние кости у рыб, а знаю только, что в костях у них недостатка нет; но что у людей есть глубокое стремление к независимости, ко всякой свободе, в этом я убеждена. Они заглушают мелочами жизни внутренний голос, и поэтому я на них сержусь. Я утешительнее нападаю на людей, нежели вы их защищаете.

— Я знал, что мы с вами после нескольких слов переменим роли или, лучше, что вы обойдете меня и очутитесь с противоположной стороны. Вы хотите бежать с негодованием от людей за то, что они не умеют достигнуть нравственной высоты, независимости, всех ваших идеалов, и в то же время вы на них смотрите как на избалованных детей, вы уверены, что они на днях поправятся и будут умны. Я знаю, что люди торопятся очень медленно, не доверяю ни их способностям, ни всем этим стремлениям, которые выдумывают за них, и остаюсь с ними, так, как остаюсь с этими деревьями, с этими животными, — изучаю их, даже люблю. Вы смотрите а priori и, может, логически правы, говоря, что человек должен стремиться к независимости. Я смотрю патологически и вижу, что до сих пор рабство — постоянное условие гражданского развития, стало быть, или оно необходимо, или нет от него такого отвращения, как кажется.

— Отчего мы с вами, добросовестно рассматривая историю, видим совершенно розное?

— Оттого, что говорим об розном; вы, говоря об истории и народах, говорите о летающих рыбах, а я о рыбах вообще — вы смотрите на мир идей, отрешенный от фактов, на ряд деятелей, мыслителей, которые представляют верх сознания каждой эпохи; на те энергические минуты, когда вдруг целые страны становятся на ноги и разом берут массу мыслей для того, чтоб изживать их потом целые века в покое; вы принимаете эти катаклизмы, сопровождающие рост народов, эти исключительные личности за рядовой факт, но это только высший факт, предел. Развитое меньшинство, которое торжественно несется над головами других и передает из века в век свою мысль, свое стремление, до которого массам, кишащим внизу, дела нет, дает блестящее свидетельство, до чего может развиваться человеческая натура, какое страшное богатство сил могут вызвать исключительные обстоятельства, но все это не относится к массам, ко всем. Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколениями, нисколько не

дает право ждать от лошадей вообще тех же статей. Идеалисты непременно хотят поставить на своем, во что б то ни стало. Физическая красота между людьми так же исключение, как особенное уродство. Посмотрите на мещан, толпящихся в воскресенье на Елисейских Полях, и вы ясно убедитесь, что природа людская вовсе не красива.

— Я это знаю и нисколько не удивляюсь глупым ртам, жирным лбам, дерзко вздернутым и глупо висящим носам, они мне просто противны.

— А как бы вы стали смеяться над человеком, который принял бы близко к сердцу, что лошаки не так красивы, как олени? Для Руссо было невыносимо нелепое общественное устройство его времени; кучка людей, стоявшая возле него и развитая до того, что им только недоставало гениальной инициативы, чтоб назвать зло, тяготившее их, — откликнулись на его призыв; эти отщепенцы, раскольники остались верны и составили Гору в 92 году¹³. Они почти все погибли, работая для французского народа, которого требования были очень скромны и который без сожаления позволил их казнить. Я даже не назову это неблагодарностью, не в самом деле все, что делалось, делали они для народа; мы *себя* хотим освободить, *нам* больно видеть подавленную массу, *нас* оскорбляет ее рабство, мы за нее страдаем — и хотим снять свое страдание. За что тут благодарить; могла ли толпа, в самом деле, в половине XVIII столетия желать свободы, Contrat social, когда она теперь, через век после Руссо, через полвека после Конвента, нема к ней, когда она теперь в тесной рамке самого пошлого гражданского быта здорова, как рыба в воде?

— Брожение всей Европы плохо соединяется с вашим воззрением.

— Глухое брожение, волнующее народы, происходит от голода. Будь пролетарий побогаче, он и не подумал бы о коммунизме. Мещане сыты, их собственность защищена, они и оставили свои попечения о свободе, о независимости; напротив, они хотят сильной власти, они улыбаются, когда им с негодованием говорят, что такой-то журнал схвачен, что того-то ведут за мнение в тюрьму. Все это бесит, сердит небольшую кучку эксцентрических людей; другие равнодушно идут мимо, они заняты, они торгуют, они семейные люди. Из этого никак не следует, что мы не вправе требовать полнейшей независимости; но только не за что сердиться на народ, если он равнодушен к нашим скорбям.

— Оно так, но, мне кажется, вы слишком держитесь за арифметику; тут не поголовный счет важен, а нравственная мощь, в ней *большинство* достоинства*.

— Что касается до качественного преимущества, я его вполне отдаю сильным личностям. Для меня Аристотель представляет не только сосредоточенную силу своей эпохи, но еще гораздо больше. Людям надобно было тысячи лет понимать его наизнанку, чтоб выразуметь, наконец, смысл его слов. Вы помните, Аристотель называет Анаксагора первым трезвым между пьяными греками¹⁴; Аристотель был последний. Поставьте между ними Сократа — и у вас полный комплект трезвых до Бэкона. Трудно по таким исключениям судить о массе.

— Наукой всегда занимались очень немногие; на это отвлеченное поле выходят одни строгие, исключительные умы; если вы в массах не встретите большой трезвости, то найдете вдохновенное опьянение, в котором бездна сочувствия к истине. Массы не понимали Сенеки и Цицерона, а каково отозвались на призыв двенадцати апостолов?

— Знаете ли, по-моему, сколько их ни жаль, а надобно признаться, они сделали совершеннейшее *fiasco*.

— Да, только окрестили полвселенной.

— В четыре столетия борьбы, в шесть столетий совершенного варварства, и после этих усилий, продолжавшихся тысячу лет, мир так окрестился, что от апостольского учения ничего не осталось; из освобождающего евангелия сделали притесняющее католичество, из религии любви и равенства — церковь крови и войны. Древний мир, истощив все свои жизненные силы, падал, христианство явилось на его одре врачом и утешителем, но, прилаживаясь к больному, оно само заразилось и сделалось римское, варварское, какое хотите, только не евангельское. Какова сила родовой жизни, масс и обстоятельств! Люди думают, что достаточно доказать истину, как математическую теорему, чтоб ее приняли; что достаточно самому верить, чтоб другие поверили. Выходит совсем иное, одни говорят одно, а другие слушают их и понимают другое, оттого что их развития разные. Что проповедовали первые христиане и что поняла толпа? Толпа поняла все непонятное, все нелепое и мистическое; все ясное и простое было ей

* Августин употребил выражение *prioritas dignitatis* <первенство по достоинству (лат.) .

недоступно; толпа приняла все связующее совесть и ничего освобождающего человека. Так впоследствии она поняла революцию только кровавой расправой, гильотиной, мезтью; горькая историческая необходимость сделалась торжественным криком; к слову «братство» приклеили слово «смерть». «Fraternité ou la mort!»¹⁵ сделалось каким-то «La bourse ou la vie»¹⁶ — террористов. Мы столько жили сами, столько видели, да столько за нас жили наши предшественники, что, наконец, нам непростительно увлекаться, думать, что достаточно возвестить римскому миру евангелие, чтоб сделать из него демократическую и социальную республику, как это думали *красные* апостолы; или что достаточно в два столбца напечатать иллюстрированное издание des droits de l'homme¹⁷, чтоб человек сделался свободным.

— Скажите, пожалуйста, что вам за охота выставлять одну дурную сторону человеческой природы?

— Вы начали разговор с грозного проклятия людям, а теперь защищаете их. Вы меня сейчас обвиняли в оптимизме, я вам могу возвратить обвинение. У меня никакой нет системы, никакого интереса, кроме истины, и я высказываю ее, как она мне кажется. Я не считаю нужным из учтивости к человечеству выдумывать на него всякие добродетели и доблести. Я ненавижу фразы, к которым мы привыкли, как христиане к символу веры; как бы они ни были с виду нравственны и хороши, они связывают мысль, покоряют ее. Мы принимаем их без проверки и идем дальше, оставляя за собой эти ложные маяки, и сбиваемся с дороги. Мы до того привыкаем к ним, что теряем способность в них сомневаться, что совестимся касаться до таких святынь. Думали ли вы когда-нибудь, что значат слова «человек родится свободным»? Я вам их переведу, это значит: человек родится зверем — не больше. Возьмите табун диких лошадей, совершенная свобода и равное участие в правах, полнейший коммунизм. Зато развитие невозможно. Рабство — первый шаг к цивилизации. Для развития надобно, чтоб одним было гораздо лучше, а другим гораздо хуже; тогда те, которым лучше, могут идти вперед на счет жизни остальных. Природа для развития ничего не жалеет. Человек — зверь с необыкновенно хорошо устроенным мозгом, тут его мощь. Он не чувствовал в себе ни ловкости тигра, ни львиной силы, у него не было ни их удивительных мышц, ни такого развития внешних чувств, но в нем нашлось бездна хитрости, множество смиренных качеств, которые, с естественным побуждением жить стадами, поставили его на начальную ступень

общественности. Не забывайте, что человек любит подчиняться, он ищет всегда к чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спрятаться, в нем нет гордой самобытности хищного зверя. Он рос в повиновении семейном, племенном; чем сложнее и круче связывался узел общественной жизни, тем в большее рабство впадали люди; они были подавлены религией, которая теснила их за их трусость, старейшими, которые теснили их, основываясь на привычке. Ни один зверь, кроме пород, «развращенных человеком», как называл домашних зверей Байрон, не вынес бы этих человеческих отношений. Волк ест овцу, потому что голоден и потому что она слабее его, но рабства от нее не требует, овца не покоряется ему, она протестует криком, бегом; человек вносит в дико-независимый и самобытный мир животных элемент верноподданничества, элемент Калибана, на нем только и было возможно развитие Проспера¹⁸; и тут опять та же беспощадная экономия природы, ее рассчитанность средств, которая, ежели где перейдет, то наверное не дойдет где-нибудь, и, вытянувши в непомерную вышину передние ноги и шею камелеопардала, губит его задние ноги.

— Доктор, да вы страшный аристократ.

— Я натуралист, и знаете, что еще?.. я не трус, я не боюсь ни узнать истину, ни высказать ее.

— Я не стану вам противуречить; впрочем, в теории все говорят правду, насколько ее понимают, тут нет большого мужества.

— Вы думаете? Какой предрассудок!.. Помилуйте, на сто философов вы не найдете одного, который был бы откровенен; пусть бы ошибался, нес бы нелепицу, но только с полной откровенностью. Одни обманывают других из нравственных целей, другие самих себя — для спокойствия. Много ли вы найдете людей, как Спиноза, как Юм, идущих смело до всякого вывода? Все эти великие освободители ума человеческого поступали так, как Лютер и Кальвин, и, может, были правы с практической точки зрения; они освобождали себя и других включительно до какого-нибудь рабства, до символических книг, до текста Писания и находили в душе своей воздержанность и умеренность не идти далее. По большей части последователи продолжают строго идти в путях учителей; в числе их являются люди посмелей, которые догадываются, что дело-то не совсем так, но молчат из благочестия и лгут из уважения к предмету так, как лгут адвокаты, ежедневно говоря, что не смеют сомневаться в справедливости судей, зная очень хорошо, что они мошенники, и не доверяя им

нисколько. Эта учтивость совершенно рабская, но мы к ней привыкли. Знать истину не легко, но все же легче, нежели высказывать ее, когда она не совпадает с общим мнением. Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты, околичнословия употребляли лучшие умы, Бэкон, Гегель, чтоб не говорить просто, боясь тупого негодования или пошлого свиста. Оттого до такой степени трудно понимать науку, надобно отгадывать ложно высказанную истину. Теперь рассудите: у многих ли есть досуг и охота дорабатываться до внутренней мысли и копаться в туке, которым наши учителя прикрывают свое посильное пониманье, — отрывая стразы и крашенные стекла их науки.

— Это опять приближается к вашей аристократической мысли, что истина для нескольких, а ложь для всех, что...

— Позвольте, вы во второй раз назвали меня аристократом, я при этом вспоминаю робеспьеровское выражение: «L'athéisme est aristocrate»¹⁹. Если б Робеспьер хотел только сказать, что атеизм возможен для немногих, так точно, как дифференциальные исчисления, как физика, он был бы прав; но он, сказавши: «Атеизм аристократичен», заключил, что атеизм — ложь. Для меня это возмутительная демагогия, это покорение разума нелепому большинству голосов. Неумолимый логик революции срезался и, провозглашая *демократическую* неправду, народной религии не восстановил, а указал предел своих сил, указал межу, за которой и он не революционер, а указать это во время переворота и движения значит напомнить, что время лица миновало... И в самом деле, после Fête de l'Être Suprême²⁰ Робеспьер становится мрачен, задумчив, беспокоен, его томит тоска, нет прежней веры, нет того смелого шага, которым он шел вперед, которым ступал в кровь и кровь его не марала; тогда он не знал своих границ, будущее было беспредельно; теперь он увидел забор, он почувствовал, что ему приходится быть консерватором, и голова атеиста Клоца, пожертвованная предрассудку, лежала в ногах его, как улика, через нее ему нельзя было перешагнуть²¹. — Мы старше наших старших братьев; не будем детьми, не будем бояться ни были, ни логики, не станем отказываться от последствий, они не в нашей воле; не будем выдумывать бога — если его нет, от этого его все же не будет. Я сказал, что истина принадлежит меньшинству, разве вы этого не знали? Отчего вам это показалось странно? Оттого, что я не прибавил к этому никакой риторической фразы. Помилуйте, да ведь я не отвечаю ни за пользу, ни за вред этого факта, я говорю только о его

существовании. Я вижу в настоящем и прошедшем знание, истину, нравственную силу, стремление к независимости, любовь к изящному — в небольшой кучке людей враждебных, потерянных в среде, не симпатизирующей им. С другой стороны, я вижу тугое развитие остальных слоев общества, узкие понятия, основанные на преданиях, ограниченные потребности, небольшие стремления к добру, небольшие поползновения к злу.

— Да, сверх того, необычайную верность в стремлениях.

— Вы правы, общие симпатии масс почти всегда верны, как инстинкт животных верен, и знаете отчего? Оттого, что жалкая самобытность отдельных личностей стирается в общем; масса хороша только как безличная, и развитие самобытной личности составляет всю прелесть, до которой дорабатывается с другой стороны все свободное, талантливое, сильное.

— Да... до тех пор, пока вообще будет толпа, но заметьте, что прошедшее и настоящее не дают вам причины заключать, что в будущем не изменятся эти отношения; все идет к тому, чтоб разрушить дряхлые основы общественности. Вы ясно поняли и резко представляете раздор, двойство в жизни и успокаиваетесь на этом; вы, как докладчик уголовной палаты, свидетельствуете о преступлении и стараетесь его доказать, предоставляя суд — палате. Другие идут далее, они хотят его снять; все сильные натуры меньшинства, о котором вы говорите, постоянно стремились наполнить пропасть, их отделяющую от масс; им было противно думать, что это неизбежный, роковой факт, у них в груди слишком много было любви, чтоб остаться в своей исключительной выси. Они лучше хотели с опрометчивостью самоотверженного порыва погибнуть в пропасти, их отделяющей от народа, нежели прогуливаться по их краям, как вы. И эта связь их с массами — не каприз, не риторика, а глубокое чувство сродства, сознание того, что они сами вышли из масс, что без этого хора не было бы и их, что они представляют ее стремления, что они достигли того, до чего она достигает.

— Без сомнения, всякий распутившийся талант, как цветок, тысячью нитями связан с растением и никогда не был бы без стебля, а все-таки он не стебель, не лист, а цветок, жизнь его, соединенная с прочими частями, все же иная. Одно холодное утро — и цветок гибнет, а стебель остается; в цветке, если хотите, цель растения и край его жизни, но все же лепестки венчика — не целое растение. Всякая эпоха выплес-

кивает, так сказать, дальнейшей волной полнейшие, лучшие организации, если только они нашли средства развиться; они не только выходят из толпы, но и *вышли* из нее. Возьмите Гете, он представляет усиленную, сосредоточенную, очищенную, *сублимированную* сущность Германии, он из нее вышел, он не был бы без всей истории своего народа, но он так удалился от своих соотечественников в ту сферу, в которую поднялся, что они не ясно понимали его и что он, наконец, плохо их понимал; в нем собралось все волновавшее душу протестантского мира и распахнулось так, что он носился над тогдашним миром, как дух божий над водами. Внизу хаос, недоразумение, схоластика, домогательство понять; в нем светлое сознание и покойная мысль, далеко опередившая современников.

— Гете представляет во всем блеске именно вашу мысль; он отчуждается, он доволен своим величием; и в этом отношении он исключение. Таков ли был Шиллер и Фихте, Руссо и Байрон, и все эти люди, мучившиеся из того, чтоб привести к одному уровню с собою массу, толпу? Для меня страдания этих людей, безвыходные, жгучие, провожавшие их иногда до могилы, иногда до плахи или до дома умалишенных, — лучше, нежели гетевский покой.

— Они много страдали, но не думайте, что они были без утешений. У них было много любви и еще больше веры. Они верили в человечество так, как его придумали, верили в свой разум, верили в будущее, упиваясь своим отчаянием, и эта вера врачевала одушевление их.

— Зачем же в вас нет веры?

— Ответ на этот вопрос сделан давно Байроном; он отвечал даме, которая его обращала в христианскую веру: «Как же я сделаю, чтоб начать верить?» В наше время можно или верить не думая, или думать не веривши. Вам кажется, что спокойное, по-видимому, сомнение легко; а почему вы знаете, сколько бы человек иногда готов был дать в минуту боли, слабости, изнеможения за одно верование? Откуда его возьмешь? Вы говорите: лучше страдать, и советуете верить, но разве религиозные люди страдают в самом деле? Я вам расскажу случай, который был со мною в Германии. Призывают меня раз в гостиницу к приезжей даме, у которой занемогли дети; я прихожу; дети в страшной скарлатине; медицина нынче настолько сделала успехов, что мы поняли, что мы не знаем почти ни одной болезни и почти ни одного лечения, это большой шаг вперед. Вижу я, дело очень плохо,

прописал детям для успокоения матери всякие невинные вещи, дал разные приказания, очень хлопотливые, чтоб ее занять, а сам стал выжидать, какие силы найдет организм для противодействия болезни. Старший мальчик поприутих. «Он, кажется, теперь спокойно заснул», — сказала мне мать; я ей показал пальцем, чтоб она его не разбудила; ребенок отходил. Для меня было очевидно, что болезнь совершенно одинаково пойдет у его сестры; мне казалось, что ее спасти невозможно. Мать, женщина очень нервная, была в безумии и беспрерывно молилась; девочка умерла. — Первые дни человеческая натура взяла свое, мать пролежала в горячке, была сама на краю гроба, но мало-помалу силы воротились, она стала покойнее, толковала мне все о Шведенборге...²² Уезжая, она взяла меня за руку и сказала с видом торжественного спокойствия: «Тяжело мне было... какое страшное испытание!.. Но я их хорошо поместила, они возвратились чистыми, ни одной пылинки, ни одного тлетворного дыхания не коснулось их... им будет хорошо! Я для их блага должна покориться!»

— Какая разница между этим фанатизмом и верой человека в людей, в возможность лучшего устройства, свободы! Это сознание, мысль, убеждение, а не суеверие.

— Да, то есть не грубая религия des Jenseits²³, которая отдает детей в пансион на том свете, а религия des Diesseits²⁴, религия науки, всеобщего, родового, трансцендентального разума, идеализма. Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим. Вера в будущее за гробом дала столько силы мученикам первых веков; но ведь такая же вера поддерживала и мучеников революции; те и другие гордо и весело несли голову на плаху, потому что у них была непреложная вера в успех их идей, в торжество христианства, в торжество республики. Те и другие ошиблись — ни мученики не воскресли, ни республика не водворилась. Мы пришли после них и увидели это. Я не отрицаю ни величие, ни пользу веры; это великое начало движения, развития, страсти в истории, но вера в душе людской — или частный факт, или эпидемия. Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустил разбор и недоверчивое сомнение, кто пытал жизнь и, задерживая

дыхание, с любовью останавливался на всяких трупоразъятиях, кто заглянул, может быть, больше, нежели нужно, за кулисы; дело сделано, поверить вновь нельзя. Можно ли, например, меня уверить, что после смерти дух человека жив, когда так легко понять нелепость этого разделения тела и духа; можно ли меня уверить, что завтра или через год водворится социальное братство, когда я вижу, что народы понимают братство, как Каин и Авель?

— Вам, доктор, остается скромное *a parte*²⁵ в этой драме, бесплодная критика и праздность до скончания дней.

— Быть может; очень может быть. Хотя я не называю праздностью внутреннюю работу, но тем не менее думаю, что вы верно смотрите на мою судьбу. Помните ли вы римских философов в первые века христианства — их положение имеет много сходного с нашим; у них ускользнуло настоящее и будущее, с прошедшим они были во вражде. Уверенные в том, что они ясно и лучше понимают истину, они скорбно смотрели на разрушающийся мир и на мир водворяемый, они чувствовали себя правее обоих и слабее обоих. Кружок их становился теснее и теснее, с язычеством они ничего не имели общего, кроме привычки, образа жизни. Натяжки Юлиана Отступника и его реставрации были так же смешны, как реставрация Людовика XVIII и Карла X²⁶; с другой стороны, христианская теодицея оскорбляла их светскую мудрость, они не могли принять ее язык, земля исчезала под их ногами, участие к ним стыло; но они умели величаво и гордо дожидаться, пока разгром захватит кого-нибудь из них, — умели умирать, не накупаясь на смерть и без притязания спасти себя или мир; они гибли хладнокровно, безучастно к себе; они умели, пощаженные смертью, завертываться в свою тогу и молча досматривать, что станет с Римом, с людьми. Одно благо, остававшееся этим иностранцам своего времени, была спокойная совесть, утешительное сознание, что они не испугались истины, что они, поняв ее, нашли довольно силы, чтоб вынести ее, чтоб остаться верными ей.

— И только.

— Будто этого не довольно? Впрочем, нет, я забыл, у них было еще одно благо — личные отношения, уверенность в том, что есть люди, так же понимающие, сочувствующие с ними, уверенность в глубокой связи, которая независима ни от какого события; если при этом немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климат... чего же больше?

- По несчастью, этого спокойного уголка в тепле и тишине вы не найдете теперь во всей Европе.
- Я поеду в Америку.
- Там очень скучно.
- Это правда...

Париж, 1 марта 1849 г.

